

ПИСЬМА К БЛОКУ В. И. САМОЙЛО

Сообщение М. А. Файнберг

В автобиографии, предназначенной для сборника «Первые литературные шаги», ее ранней редакции, помеченной октябрём 1909 г., Блок счел возможным сказать о критиках и критике своих первых поэтических книг.

«Мне приходилось читать о себе и заметки, и целые статьи,— писал Блок,— но почти никогда они не останавливали моего внимания. За немногими исключениями (Брюсова, Вяч. Иванова, Д. В. Filosofova, В. И. Самойло) они меня ничему не научили; были и буренински-праздные, и фельетонно-хлесткие, и уморительно-декадентские, но везде — ложка правды в бочке критических вымыслов, хулиганской ругани, бесстыдных расхваливаний, а иногда, к сожалению, намеки вовсе не литературного свойства» (VII, 434).

Среди «немногих исключений», несомненно, были имевшая широкий резонанс статья Filosofova «Студенты и академисты» («Мир искусства», 1903, № 16) и рецензия Брюсова на сборник «Снежная Маска»,— Блока не мог не поразить ее «снежный» образ страсти, поднимающей «огненными вихрями» «с ледяных полей души»,— и совсем недавнее — когда писались «Итальянские стихи» — предложение Вяч. Иванова убрать последние две строфы в рукописи стихотворения «Холодный ветер от лагуны...»,— Блок зачеркнул их с пометой: «Уничтожены Вяч. Ивановым 6 X (1909)»¹,— и многое другое.

В ряду достаточно известных, Блоку так или иначе близких стоит особняком и вызывает некоторое недоумение имя В. И. Самойло. Между тем перу этого публициста и литературного критика принадлежит одна из самых пронизательных и «тонких» в те годы — это мнение Блока — интерпретаций блоковской поэзии, преимущественно периода «Стихов о Прекрасной Даме». Речь идет об очерке В. И. Самойло «Александр Блок. Основные мотивы творчества», опубликованном в минском литературном сборнике «Туманы» (1909).

Несколько слов об авторе очерка. Дошедшие до нас сведения о Владимире Ивановиче Самойло (род. в 1878 г.) скудны. Неизвестен даже год его смерти. Предполагается, что умер он в начале 1940-х годов, в период немецкой оккупации, в Вильнюсе, где жил долгие годы, уже отойдя от общественных и литературных дел (См. «Белорусскую энциклопедию», т. IX и главу «Жизнь совершенно новая» в кн.: С. Букчина. Народ издревле нам родной. Минск, 1984, содержащую ряд полезных сведений о Блоке и Самойло).

Минчанин по рождению, окончивший историко-филологический факультет Петербургского университета, по-видимому в годы, когда там учился Блок, В. И. Самойло, вернувшись в Минск, сотрудничал как журналист в разных изданиях. В газете «Минский курьер», сотрудником и редактором которой Самойло одно время был, появляются его статьи и литературные обзоры, отмеченные серьезностью анализа, «социологического», как называет его автор, неожиданностью ракурсов и сопоставлений — например, «Проблема веры и воли, «земли» и «капитала». Ибсен — Толстой — Андреев.» и др. Публицист демократического направления, В. И. Самойло немало сделал для белорусской культуры — отстаивал национальную школу, чутко угадал в ранних стихах Янки Купалы будущего народного поэта Белоруссии и содействовал их появлению в печати. «По самосознанию я русский,— напишет он о себе Блоку,— но связан с Белоруссией неразрывно... „общерусс“» (письмо от 13—29 октября 1909 г.)². И когда мы читаем в одном из его писем: «Без нашего эмпирического национального существования — что мне до так называемого „смысла жизни“?!» — или процитированные им чаадаевские строки о воспоминаниях «не дольше вчерашнего дня»³, — за этим угадываются те острые коллизии времени, смысл которых был далеко не безразличен и Блоку. Художественная интеллигенция Минска знала В. И. Самойло и как умного, темпераментного лектора («будто мучительства и боли карамазовских вопросов —

его личные боли», «будто андреевские „бедны“ ему самому приходится преодолевать» — «Минское эхо», 17 октября 1908 г.). Его рефераты о русской и западноевропейской литературе — от Гоголя до Л. Андреева и Метерлинка — бывали интересны, часто — полемичны и остры. Начатый им зимой 1908/1909 г. цикл таких чтений, призванный познакомить минскую публику с «наиболее интересными течениями» литературы современной, «в частности поэзии»⁴, стал поводом и основанием для первого его письма Блоку.

Из этой короткой переписки (1909 — 1911) до нас дошли, к сожалению, только четыре письма Самойло. Подобно письмам других корреспондентов Блока они сохранились в архиве поэта и ныне находятся в ЦГАЛИ (ф. 55 оп. 2 ед. хр. 60). Письма Блока к Самойло нам неизвестны, — личный архив Самойло, судя по всему, погиб. Реконструировать их содержание хотя бы частично, пользуясь данными сохранившихся писем, как это позволяли сделать в сходной ситуации письма З. Гиппиус или Н. Клюева, чья переписка с Блоком была длительной во времени и проблемной по существу, — не представляется возможным. Из четырех сохранившихся писем ответным и в каком-то смысле «программным» было единственное — третье по счету. Оно драгоценно тем, что позволяет выявить некоторые важные суждения Блока в переписке с этим интересным для него корреспондентом.

Письмо первое не датировано. Его приблизительной датой можно считать конец июня — июль (первая половина) 1909 г., до выхода в свет альманаха «Туманы». Оно могло, разумеется, быть написано и ранее, весной, но Блок был щепетильно аккуратен в переписке, и трудно поверить, что письмо, полученное им перед поездкой в Италию, оставалось и по возвращении Блока без ответа. Тем более что оно содержало просьбу.

«Милостивый Государь Многоуважаемый Александр Александрович! В серии своих докладов в местном Литературно-артистическом обществе <...> я хочу посвятить Вам и Вашей поэзии особенно много внимания, ввиду Вашей близости к идее и образу Мадонны, которыми я особенно заинтересован лично...». Так формулируется «главное направление» и лекций, и уже написанной статьи, встреченное, надо полагать, сочувственно будущим автором «Итальянских стихов». Приложенная к письму и в нем упоминаемая газетная вырезка (она не сохранилась, но в газетах текст ее удалось найти) сообщала о первом таком докладе. Это был анонс «Минского эха» от 3 декабря 1908 г. о том, что вечером в Литературно-артистическом обществе «состоится литературная беседа на тему «Александр Блок как рыцарь русской Мадонны». Вступление сделает В. И. Самойло». (В постскрипуме письма к Блоку Самойло разъяснит кажущуюся несообразность: «Вступлением в беседу мои лекции называются по соображениям административного характера... таков устав общества».) А в Хронике номера от 5 декабря сообщалось о том, что «реферат» Самойло «был весьма интересен и в нескольких местах поражае оригинальностью и новизной мыслей» и что он будет повторен 6 декабря на заседании кружка изящной литературы. Автор письма обращался к Блоку с просьбой оказать любезность — выслать «на каких угодно условиях» («не мог найти ни в Москве, ни в Петербурге») один из авторских экземпляров «Нечаянной Радости» (М., 1907), «которая является „оправданием“ „падения“ рыцаря Мадонны».

Блок получил это письмо вскоре после возвращения из Италии. Вероятно, с некоторым опозданием, не сразу, так как адресовано оно было в Петербург, а Блоки находились в то время в Шахматове. Но к 20 августа письмо получено, прочитано, и Блок собирается на него ответить. Об этом говорит запись: «20 августа пишу Жене, З. Н.⁵, Пясту. Надо написать еще Самойло, Клюеву, А. В. Гиппиусу» (ЗК, 159). Не получив еще ответа, Самойло высылает Блоку с сопроводительным, вторым, письмом только что вышедший в Минске сборник «Туманы», где опубликована его статья о поэзии Блока. Отсутствующая в письме дата косвенно определяется временем выхода из печати сборника, о котором узнаем из сообщения «Минского эха» от 23 июля 1909 г.: «Только что вышла из печати и поступила в продажу книга „Туманы“, 1-й Минский Литературный сборник...». Итак — конец июля 1909 г., а не конец сентября — октябрь, как полагает С. Букчин, что существенно, как увидим, меняет дело⁶. «За этими отрывками, — писал Блоку автор статьи, — следует в особой книжке обстоятельное доказательство чуть намеченной в них схемы. А пока прошу принять эти скромные заметки как дань глубокого, пристального изучения и самого любовного внимания к малейшим вибрациям, к чуть слышным звукам, которые так тонко уловляет и так поэтически просто, так неумолимо логически передает золова струна, протянутая у Вашего „слухового окошка“»⁷.

И думается, не столько на первое, сколько на это, второе письмо и особенно статью откликнулся Блок письмом от 17 сентября (см. помету в записной книжке: «Зак(азное) 17 IX.»⁸ — ЗК, 159). Объяснив, видимо, свой несколько запоздалый ответ деревенскими хлопотами и необ-

ходимостью частых отлучек в город⁹ (в конце июля опасно заболела Любовь Дмитриевна, ее пришлось отвезти в Москву, а после операции он навещал ее в больнице), Блок откликнулся «прекрасными теплыми строками». Об этом мы узнаем из третьего, датированного 13 и 29 октября письма Самойло, большого, на шести листах, написанного торопливо, скорописью¹⁰. «...Первым чувством по прочтении Вашего письма была благодарная радость за подтверждение Вами моей правды о Вашей <...> Это истинная радость единения...»

Профессионализм и небанальность мысли, строгость интерпретаций, отсутствие ненавистных поэту «критических вольностей» — вероятно, все это вместе назвал в своем письме Блок «печатью аристократизма». «Аристократическое клеймо...— отвечал ему автор статьи,— Вы, bona fide, видите и на моих лоскутках кустаря-любителя. Как Гейневский поэт, Вы видите уже дубовые леса в желуде»¹¹. Блока не оставила, по-видимому, равнодушным и прозорливость отдельных прочтений, уже подтвержденных (Самойло этого еще не знал) его последующим поэтическим опытом. И даже если предположить в «истинной радости единения» легкое преувеличение пылкого ума, то остаются и, думается, бесспорны «прекрасные теплые строки» Блока обычно сдержанного. Что стояло за ними? Только ли правда частных, отдельных тонких наблюдений автора статьи, не затрагивающих общей ее концепции? Едва ли. Блок увидел в статье важную для него правду о себе и «своем». Такая правда, как правило, концептуальна. Концептуальной, внутренне последовательной и цельной, несмотря на проблематичность и спорность отдельных ее положений, была статья. Она могла нравиться и не нравиться, привлекать и отталкивать некоторыми «модернистскими построениями», жесткой связью: «Мадонна католицизма — Прекрасная Дама», и отсюда — избывающей религиозной терминологии, скорее обнаруживавшей искусственность автора в религиозно-философских баталиях начала века, нежели отвечавшей избранной теме, и все-таки темой этой обусловленной. Нельзя забывать, что речь шла об опыте мистической гармонии в «Стихах о Прекрасной Даме» Блока. Но статье нельзя было отказать в одном — в неколебимой логике внутреннего развития.

Статья открывалась эпитафией из Блока: «Королева, Королева — больна» — как символом неблагополучия русского мира. Ее пронизывало блоковское чувство тревоги... И Достоевский, этот «громадный, неисчерпаемый романтический океан русской национальной души <...>, в котором заключены все обломки, обрывки прошлого, все зародыши, надежды будущего, все несуществившиеся возможности, все порывы, все попытки их осуществления»¹², — Достоевский был первым именем, произнесенным на ее страницах.

Осмысливая раннюю поэзию Блока в широком литературном контексте, Самойло-критик вводил ее в русло традиций и образов «священной», как любил говорить Блок, русской литературы, преимущественно ее философско-поэтической традиции, представленной главными «вехами», по убеждению автора статьи, — Достоевским, Тютчевым, Вл. Соловьевым.

Этим поэтическим «введением во храм» — Блока оно не могло не тронуть — были, по сути, определены и диапазон ее звучания, и природа ее и д е л а...

Казалось, он выстрадан «вековой тоскою» России. В его живой, текучей духовности, свободной от рационалистических схем, пусть даже самых утешительных, и внутренне противостоявшей заданности и однозначности некоторых современных литературных явлений, Самойло чутко уловил и потаенные родники национальной жизни, и связь с духовными ценностями русской литературы с ее умевшей «переплеснуться через логику» (Блок) гуманистической традицией. Все это вместе — и напряженность ожидания — сообщало поэтическому идеалу молодого Блока черты общерусского идеала, обозначив особое, центрирующее положение поэта для русской мысли.

Ярче, пожалуй, чем в статье, взволнованнее и проникновеннее это прозвучало в третьем (ответном) письме к Блоку. Дивясь «созидающей» способности поэта «видеть дубовые леса в желуде», Самойло писал: «...В этом смысле и Вы не критик. И это легко объясняется тем, что оба мы любим То, что стоит за критикуемым, пусть и не совершенным воплощением, чего истинные критики не видят. Кто прав, сказать трудно. Критик основательно требует, чтобы „за“ не было ничего спрятано и чтобы все было „в“, налицо, видно ясно... Любовь не требует, она отгадывает. Она скажет, что указанной разницы даже не существует, что она поверхностна. Любовь скажет, что то, что спрятано, все же есть; что то, что сегодня „за“, завтра будет „в“; что спрятанное, может быть, спряталось от страха, с испуга, от детской робости, ставшей натурой, от „ушиба“ в детстве, ставшего „большим здоровьем“ на всю жизнь... Кто же прав? Этого нельзя сказать... Дело в том, что есть две правды, и это не этическая или философская доктрина, а естественноисторический факт. — Эти две правды даны природой готовыми, уже разделенными, во внутренне глубоко едиными, — мужчина и женщина, гриб и грибница, крикливый сосун

и материнская грудь, „я“ и „не я“, — нищевское „Я хочу!“ и „он хочет“... „Наша“ правда — правда женская... „Мо“ — всегда мужская...¹³» «Мужское начало борьбы, протеста, злобы, упрямой воли, усилась... — писал он в статье, — правдивее, ярче всего представлено у нас в современной литературе Андреевым, женское — Блоком... Только на фоне Андреева — вполне понятен Блок» (с. 43—45).

Тяготение Блока к Достоевскому Самойло не только подметил одним из первых, — он определил для себя его уровень, нерв. Блоку, считает Самойло, важен Достоевский как явление действительно уникальное «русской национальной души», Достоевский с его пророческими прозрениями, морем «национальных загадок, отгадок, человеческих схем, силуэтов, набросков, символов, теней, „миражей“ прошлого, призраков, намеков будущего» (с. 40—41), Достоевский — автор «Подростка», как никогда ценимого в России начала века. Близость «фантастическому» реализму Достоевского Блок чувствовал когда-то очень остро (см. письмо к отцу от 5 августа 1902 г.). И — это, может быть, главное — Блока привлек Достоевский, «измеривавший, — говоря словами А. Белого, — землю меркой абсолютной гармонии»¹⁴. Вне поисков этой абсолютной гармонии невозможно представить себе и творчество Блока. Эту связь понял Самойло. В поэзии Блока он увидел «поразительный пример» материализации «одной из человеческих схем Достоевского»: «Вспомните фигуру Тришатова, — обращается он к читателям статьи, — в замечательном романе „Подросток“. Фигурой Тришатова предсказано появление поэзии Александра Блока. Та „опера“, о которой так мечтал, но которой не мог написать Тришатов, написана Александром Блоком» (с. 41—42).

«Если б я сочинил оперу, то, знаете, я бы взял сюжет из «Фауста». Я очень люблю эту тему... Готический собор, внутренность, хоры, гимны, входит Гретхен... Гретхен в тоске, сначала речитатив, тихий, но ужасный, мучительный, а хоры гремят мрачно, строго, безучастно: Dies irae... И вдруг — голос дьявола, песня дьявола <...> Начинает тихо, нежно: «Помнишь, Гретхен...» Но песня все сильнее, все страстнее, стремительнее, ноты выше: в них слезы, тоска, безустанная, безвыходная и, наконец, отчаяние: «Нет прощения, Гретхен, нет здесь тебе прощения!» Гретхен хочет молиться, но из груди ее рвутся лишь крики... а песня сатаны все не умолкает... — и вдруг обрывается почти криком: «Конец всему, проклята!» Гретхен падает на колена, сжимает перед собой руки — и вот тут ее молитва, что-нибудь очень краткое, полуречитатив, но наивное... только четыре стиха... — и с последней нотой обморок! Смятение. Ее поднимают, несут — и тут вдруг громовый хор. Это — как бы удар голосов, хор вдохновенный, победоносный, подавляющий <...>, так, чтобы все потряслось на основаниях — и все переходит в восторженный, ликующий всеобщий возглас: «Hossanna!» как бы крик всей вселенной, а ее несут, несут, и вот тут опустить занавес»¹⁵. Таков сюжет «оперы»...

Образ Вечной Женственности сближал фаустовский путь к воссоединению «раздробленного» человека и поиск гармонии в поэзии молодого Блока. Гармонии, пусть мистической, как попытки преодолеть разорванность бытия, примирить трагические диссонансы реального мира. Смысл ее автор статьи увидел «незамутненным», незаслоненным реальной житейской ситуацией поэта, — это «...любовь, творящая из „безмерного хаоса“ мир, жизнь, гармонию...» (с. 44). Таким в короткой ретроспективе нескольких лет предстанет он и самому Блоку, записавшему к докладу «О современном состоянии русского символизма»: «О теургическом искусстве: заклятие хаоса, — „Стихи о Прекрасной Даме“, — уже этика, уже общественность» (ЗК, 168). Это преображающее мир искусство в контексте статьи безусловно соотносено с «сегодняшней наличностью потенциальных энергий», которыми «в значительной мере определяется завтрашний день нации...» (с. 40).

Из сюжета несостоявшейся оперы на тему «Фауста» постепенно вырисовывалась главная, громадная в своей неразрешимости «загадка жизни». «...„Мысль Божия и мысль человеческая“ — вот <...> первая и последняя мысль, — писал Самойло, — полудетской, женственной души нашего поэта, удивленной, изнуренной этой громадной, непосильной для нее задачей... У нас ее решали одиноко; раздробленные души, жаждавшие веры сердца, решали ее не живя, а созерцая, не участвуя деятельно в истории, а томясь, — „тоскуя и любя“...». Этим соловьевским, а позднее — блоковским «тоскуя и любя» русская философско-поэтическая традиция Гоголя и Тютчева, Достоевского и Владимира Соловьева «перебрасывала мост» в XX век — к поэзии Блока. «Вот, по нашему мнению, — заключал автор статьи, — место Александра Блока в нашей литературе; вот в какой глубокой органической связи стоит он с традициями нашей религиозно-философской поэтической мысли» (с. 42—43).

Но автору статьи, — и это один из существенных ее моментов, — Блок представляется поэтом не только русской традиции, которому вняты и тютчевское чувство Рока, и Владимир Соловьев

с его идеей «всеединства», но и поэтом традиции общечеловеческой. «История человеческой души, и притом поздних времен, традиция романтического Gemüth'a, готическая легенда — входят важным элементом в его созерцание русской действительности, а образ Мадонны ставит его в самую интимную связь с эпохой Возрождения...» (с. 44). Проницательность этого утверждения Блок не мог не оценить, особенно в то послелетальное лето в Шахматове, когда в его записных книжках уже бурно рождались, перебивая друг друга, замыслы и наброски «Итальянских стихов». Речь ведь шла не об особом (а оно было) пристрастии Блока к искусству готики, с ее экспрессивной, порывистой духовностью, не о той поколебленной Ренессансом средневековой традиции, что умела сообщить особую одухотворенность созданиям любимого им Фра Беато Анджелико и некоторых других художников-праерафаэлитов. Речь шла не о частностях, но о широко понятой связи поэта с проблемами, образами, истоками и традициями европейской культуры, так поражающей последствии в стихах, статьях, письмах и личных записях Блока («Я родился в Средние века...»; «Флоренция, ты ирис нежный страны, где я когда-то жил...»; «В тени дворцовой галереи Чуть озаренная луной, Тася проходит Саломея С моей кровавой головой», — библейский мотив, любимый искусством Возрождения; «Кто даст мне жизнь? Потомок дождя, Купец, рыбак иль иерей...») и др.) чувством живой и кровной причастности прошлому этой культуры, осознаваемой им почти всегда трагедийно, перед лицом ее неумолимо надвигающейся, — так казалось ему тогда, — гибели. «Культуру нужно любить так, чтобы ее гибель не была страшна (<...> Мировоззрение запуганного веком, да уж что поделаешь» (ЗК, 155). И это тоже, как все, что он думал, чувствовал и писал, — было «повернуто лицом» к России. И в стихах о Флоренции из смежных «русских» циклов, и впрямь приобретая характер «одной из мировых истин»¹⁶, вдруг появлялся мотив возмездия, в итальянских картинных галереях вспоминался Чехов в Художественном театре, «не уступающий Беллини» (VIII, 283), а черное небо Италии, «черный воздух» картин Леонардо непостижимым образом соседствовали в набросках с русской, крестьянской, «как воздух черной бороздой...». Но «Итальянских стихов» Самойло не знал, в то время их еще не было. «Общечеловеческое» и в первую очередь традиции ренессансной культуры увидел он в «Стихах о Прекрасной Даме». Увидел — не в мистической, разработанной до тонкостей символике цикла, не в ее архитектурном с элементами готики «антураже», даже не в мотиве рыцарственного служения, столь явственно звучащем, — но в самой героине цикла, подобно Мадоннам Возрождения, сочетающей небесное с земным, надмирность, почти космическую, — с живой и женственной сутью. Не случайно позднее и по другому поводу Блок скажет в письме к А. Белому, что вся история его внутреннего развития «напророчена» в этих стихах — VIII, 317, письмо от 22 октября 1910 г. По справедливому замечанию современного исследователя, «Стихи...», не имеющие аналогий в русской поэзии, непосредственно соприкасаются с традицией, которая идет от эпохи Возрождения («Новая жизнь» Данте, «Книга песен» Петрарки)¹⁷.

«Вы вводите (<...> в наш мир женщину, — писал Самойло Блоку, — так, как она еще не вводилась в нашей поэзии (намек, настроения только у Пушкина) — религиозно, но совершенно живой (<...>). И этой Вашей заслуги не забудет наша поэзия. Это — Ваше собственное, за это Вас полюбят...»¹⁸.

Образом этим — поверх «жизненных реалий» — определялась «вселенская», и в этом своем качестве действительно обращенная к поэтам Возрождения, природа интимного любовного чувства, стоящего как бы в центре мира, поэтически преломляющего, познающего и оправдывающего своим существованием этот мир.

Однако мир не только оправдан и освящен в своей глубине присутствием Прекрасной Дамы, — он в какой-то мере «творим» ею¹⁹. Это созидательное начало определяет структурный, как мы бы сказали, характер образа внутри цикла. Отсюда с жесткой последовательностью выводит автор статьи и проблему города, центральную, по его мнению, у Блока, ибо «мировоззрение его центристское, концентрическое, и это выгодно отличает его поэзию от анархической поэзии наших крайних индивидуалистов» (с. 46).

Город начинается не с «Распутий». Он присутствует уже в «Стихах о Прекрасной Даме», в более поздних циклах, лишь изменяя свой лик. Атрибуты этого города — «границы», «ограды», «терема», «колонны», «ризы», «карнизы» и проч. — создают ее архитектурный, полный символика ландшафт — место действия, храм «русской Мадонны», где должно свершиться — но свершится ли? — чудо преображения... Проблема города у Блока приобретает расширительное толкование и принципиально иной смысл. «Именно в этом истинном смысле слова, — утверждает автор, — а не в том внешнем, в каком употребляет его Чуковский, Блока действительно нужно назвать поэтом города» (с. 47). У города в этом значении — своя история и судьба — от условной во

многом статике и изысканности архитектурного «сюжета» в «Стихах о Прекрасной Даме» («Неподвижность» — первоначальное заглавие их основной части), сквозь отрезвляющую обыденность «мещанского житья», двойственность Петербурга второго тома — к полифоническому звучанию и значению города в поздних лирических циклах Блока.

Но прежде всего и более всего облик Прекрасной Дамы явлен был в природе («Смысл ее печали... ищется в природе, — записал в феврале 1901 г. Блок), ее закатах и зорях, «передрасветных туманах», песнях весеннего ветра, — всегда подвластных духу творимой ею гармонии. Заметим, кстати, что, близко увидев картины итальянских мастеров, Блок оцудит и осмыслит другой характер связи, — пейзаж Леонардо да Винчи «многообразием *целого* мира» (V, 16) будет светиться для него в улыбке Джоконды. Движение человек — природа станет центростремительным, связь — обратной. В формуле тютчевской «космологии» («Сумерки») — «все во мне, и я во всем» — Прекрасной Даме несомненно принадлежала бы вторая, Джоконде — первая ее часть, отражая, может быть неосознанно для Блока, определяющую особенность ренессансной эстетики — центрирующий в искусстве Возрождения образ человека.

Мир, одухотворенный присутствием Прекрасной Дамы, должен стать миром Вечной Весны. Сопряженный с этим образом, широко интерпретируется в статье блоковский мотив Юности. Из глубины веков, от Мадонны католицизма, спасшей, как считает автор, от диктатуры старчества и смерти западноевропейский мир²⁰, он обращен к сегодняшнему ожиданию весеннего обновления жизни и — далее — к «юным чертежникам и строителям будущего» (с. 50). Неожиданно новый смысл в этом необычном контексте получает так любимая Блоком у Ибсена мысль о Юности-Возмездии. Она предварена в статье мрачным тютчевским стихотворением «Декабристам», сообщающим ей отблеск мысли политической, и — разрешается образом почти художественной силы — образом вечных российских снегов, на которые льется теперь «нежная», «скудная краской» кровь не успевшей возмужать юности... «Трудно при таких условиях радоваться бледно-розовой заре, трудно даже просто верить в наступление дня... ибо будущее нельзя купить ценою будущего» (с. 65).

Пронзительную остроту подобных видений, вероятно, имел в виду Блок, упомянув в письме своему корреспонденту о «тонкости» его критического пера. В стоявшем за этим стремлении быть понятым, таком естественном для поэта, Самойло уловил «интимное страдание». «Вас не узнали и не встретили в милой отчизне...»²¹, — писал он. — Вас узнают только такие, как я... А хватит ли у Вас духу <...> пожелать, чтобы *все* были такими „тонкими“, как я?! Не дай господи: где тонко, там и рвется»²².

...«Опера» с ее апофеозом, «восторженным, ликующим всеобщим возгласом Hossanna!» — как ее задумал неудавшийся мальчик-композитор Тришатов у Достоевского, — не удалась, заключает Самойло, и Блоку.

Сквозь «горький опыт «Перекрестка» («Перекрестки» — раннее название «Распутий». — М. Ф.), фантазмагорию превращений («Паладин стал арлекином, звездочет — поэтом» и т. д., а «белый цвет», символ неразложимой цельности идеала, разложился «на целую „радугу“ <...> цветов человеческого спектра» — с. 59, 56), сквозь вихрь снежной вьюги, в которой «затерялась Прекрасная Дама, замерз ее паж» (с. 64), — все отчетливее, зримее становился для автора статьи разлад между «правдой действительности» и «правдой таланта». «Попробуйте тут быть Гегелем и Фейербахом (в Вашей поэзии, как Вы, конечно, знаете и сами, эти „моменты“ есть), — писал он Блоку, — если заподозрены одинаково и правда таланта („сфера абсолютного духа“) и правда „действительности“! <...> Вы на самой границе (обеих правд. — М. Ф.)... Еще один „свистящий раскол“²³ — и... страшно сказать... *чему будет до свидания...* От души, от всего моего — тоже рассеявшего свой жар... сердца желаю Вам остаться на этой границе, не поддаться страшному „головокружению“²⁴.

Как уже говорилось, Самойло настаивал на фрагментарности своей статьи и обещал «в особой книжке»²⁵ дать обоснование и развитие ее положений. Заинтересовавшись статьей, Блок спрашивал в письме об этой будущей книге. «О книге хочу написать несколько позже, — отвечал Самойло. — На одно Ваше письмо надо ответить книгой»²⁶. Однако по ряду причин, «и общих, и специфически-российских, и личного характера»²⁷, книга не состоялась. Состоялась ли встреча Самойло с Блоком? Получив приглашение Блока навестить его в Петербурге, Самойло обещал приехать «в Питер» на Рождество, в конце 1909 — начале 1910 г. Обстоятельства неожиданно осложнились. 30 ноября, получив известие о смертельной болезни отца, Блок выехал из Петербурга в Варшаву, пробыл там 18 дней, 19 декабря, простуженный и больной бронхитом, вернулся в Петербург, а 29-го уехал в Ревель, где жила тогда Александра Андреевна. По возвращении из

Ревеля с 9 января Блок находился в Петербурге и встреча его с Самойло могла состояться. Впрочем, сведений, подтверждающих ее, нет. По-видимому, встреча произошла позднее, в апреле 1910 г. (см. письмо Блока матери от 24 апреля: «...Вечер(ом) пришел Самойло». — «Письма к родным» II, 75).

Весной 1911 г., когда в московском издательстве «Мусaget» вышла книга первая «Стихотворений», один из ее экземпляров Блок отправил Самойло. Тот получил его, вернувшись из «долгого отсутствия», обстоятельства которого были, по-видимому, тяжелы, заслонив собой прежние, «виттенбергские» интересы, и ответил письмом, благодарным и доверительным, в котором явственна горечь каких-то личных разочарований и говорится об исключительной, неразрешившейся тяжести двух последних лет. Письмо это, четвертое по счету и последнее дошедшее до нас, датировано первым июля 1911 г. О том, что книгой, подаренной Блоком, были именно «Стихотворения», а не, предположим, вышедший в том же году сборник «Ночные часы» (книга в письме не названа), говорит содержание письма. Выказывая по просьбе Блока свое самое первое впечатление от книги, Самойло пронизательно замечает, что, «потеряв в концентрации, резкости и силе мистической рисунка (<...> книга (<...> бесконечно выиграла в индивидуальном, в живых линиях и красках Живой души»²⁸. Именно такой путь, как известно, прошел в своем становлении от первой публикации к первой книге «Стихотворений» цикл «Стихов о Прекрасной Даме». И странно было бы предполагать, что автору столь обстоятельной об этих стихах статьи, да еще состоявшему с ним в переписке, Блок мог бы не показать новой, существенно измененной редакции цикла. И последнее. В письме Самойло речь идет об издании, имеющем временную перспективу: «Желаю Вам успешно закончить²⁹ Ваше прекрасное издание...» (курсив мой. — М. Ф.). Единственным таким изданием для Блока в 1911 г. были «Стихотворения».

Обстоятельный разговор о книге так и не состоялся. Письмо Самойло было последним. Оно заканчивалось уже мелькнувшим однажды поэтическим образом протянутой у «слухового окошка» струны, прозвучавшим на этот раз как реминисценция, «издалека» — глухо, отрешенно...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 7, л. 34—35.

² ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 60, л. 9 об.

³ Там же, л. 9, 10. Письмо третье от 13—29 октября 1909 г.

⁴ Письмо первое б/д. Там же, л. 1.

⁵ Евгений Павлович Иванов; Зинаида Николаевна Гиппиус.

⁶ В кн: С. Б у к ч и н. Народ издревле нам родной. Минск, 1984, с. 317.

⁷ Из стихотворения Блока «Старость мертвая бродит вокруг...» — II, 73.

⁸ Заказным письмо было потому, что, выполняя просьбу Самойло, Блок отсылал ему экземпляр сборника «Нечаянная Радость» (предположение С. Бухчина).

⁹ См. письмо Самойло от 13—29 октября: «Я тоже в последнее время вел довольно хлопотливую жизнь между городом и деревней, затем был нездоров. Все это вместе, в связи с нежеланием отвлекать Вас от Ваших деревенских хлопот и занятий, — и явилось причиной позднего ответа на Ваши прекрасные теплые строки» (л. 6).

¹⁰ Письмо написано 13 октября, но не отправлено, вероятно, из-за болезни. После болезни Самойло сделал приписку от 29 октября.

¹¹ Письмо от 13—29 октября, л. 6 об.—7.

¹² Сб. «Туманы». Минск, 1909, с. 40.

¹³ Письмо от 13—29 октября, л. 7—7 об.

¹⁴ А. Б е л ы й. Трагедия творчества. Достоевский и Толстой. М., 1911, с. 23.

¹⁵ Ф. М. Д о с т о е в с к и й. Полн. собр. соч. в 30 томах, т. XIII, с. 353.

¹⁶ «Генрик Ибсен» (V, 317).

¹⁷ Л. К. Д о л г о п о л о в. Александр Блок. Изд. 2. Л., 1980, с. 49.

¹⁸ Письмо от 13—29 октября, л. 11.

¹⁹ Автор статьи ссылается на драму Блока «Король на площади»: «От великого Зодчего вселенной осталась у Блока „Дочь Зодчего“, строящая мир „не древним разумом, а любовью“» (с. 47).

²⁰ Отзвук, по-видимому, розановских представлений о христианстве как религии смерти.

²¹ Из стих. Блока «Моей матери» («Помнишь думы? Они улетели...») — II, 57.

²² Письмо от 13—29 октября, л. 11—11 об.

²³ Из стих. Блока «Старость мертвая бродит вокруг...» — II, 73.

²⁴ Письмо от 13—29 октября, л. 8 об.—9 об.

²⁵ Там же, л. 3.

²⁶ Там же, л. 6.

²⁷ Письмо от 1 июля 1911 г., л. 12 об.

²⁸ Там же, л. 13 об.—14.

²⁹ Там же, л. 14 об.